



Геннадий Фролов написал повесть «Доля» — о своем детстве и ранней юности. Она вышла отдельной книгой в Свободном в 2001 году. Автор предисловия к ней Н. Сватков говорит: «Вы не оторветесь от книги, пока не дочитаете до конца». Так и оказалось — я прочел книжку в сто сорок страниц убористого шрифта не отрываясь. Было такое ощущение, что где-то в сумеречной комнате напротив меня сидит за столом человек, крепко испытанный жизнью, и негромким, глуховатым голосом, без всякого нажима, без подчеркивания жуткой сути излагаемого предмета, рассказывает о том, что было и как было. Как это было — и больше ничего.

Постараюсь и я так же, без нажимов и перехлестов, высказать свое впечатление от общения с книжкой Геннадия Фролова. Считаю, что это одна из лучших вещей автобиографического жанра, которые мне доводилось читать. И одно из лучших прозаических произведений вообще, написанных в Приамурье. С этой точки зрения меня не сдвинуть.

Владислав Лецик.

## ДОЛЯ

### Отрывок из повести

После расселения нас по баракам и казармам началось трудоустройство взрослого населения. Матери определили место работы на железной дороге \*. Какой была эта работа с лопатой, киркой и кувалдой для двадцативосьмилетней женщины — матери четырех малолетних детей, — можно только догадываться да поражаться пределу человеческих сил и возможностей. Без всяких средств к существованию, кроме того мизера, что платили ей за работу на железной дороге, мать как-то умудрялась сводить концы с концами, не давая нам умереть с голода. Иногда после работы ее приглашали белить квартиры, мыть полы у состоятельных людей. А к состоятельным тогда относились почти все служащие. Поэтому, кроме ее дневных смен, ночные были не редкость. Они были заметным подспорьем к основному заработка, а значит, и к нашему столу. Так продолжалось до того дня, пока однажды в нашей клетке барака не появилась симпатичная девушка — материна младшая сестра, тетя Катя. Приехала она со станции Сиваки Амурской области, где проживали тогда все наши родственники по материнской линии. Приехала не в гости, а по решению семейного совета братьев во главе с бабушкой. Там, в Сиваках, чтобы хоть как-то облегчить участь своей сестры, ее братья решили забрать у нее двух пацанов к себе на воспитание — если отдаст. Кого — решать ей самой. После длительных раздумий, со слезами на глазах и дрожью в голосе, она согласилась. Выбор ее пал на средних — Гошку и меня. Впоследствии мать, как бы оправдывая свое решение, говорила мне, уже взрослуому: «Если бы я вас тогда не отдала Катерине, мы бы не выжили, все погибли бы с голоду. Отдавала я вас с одной лишь целью — всех сохранить». Конечно, она была права: мы действительно бы не выжили. Решение ее было мудрым, по силе равным решению командира, выводящего свою часть из окружения мелкими группками. Когда все возможности уже исчерпаны, когда ясно, что в любом случае не пробиться. Обратный путь был короче, быстрее. Он почти не запомнился. Отъезд, проводы наши тоже опускаю. Слишком горькими они были. Мать как будто отрывала нас от себя, оставляя кровоточащую рану.

Приехали вечером, никто не встречал. Вышло какое-то смещение графика движения поездов, и наши не то опоздали на встречу, не то встретили слишком рано. С вокзала тетя Катя привела нас домой к бабушке, которую мы с Гошкой почти не знали. Жила она с двумя еще не женатыми сыновьями да незамужней дочерью Катериной — студенткой педучилища.

Все родственники были в сборе. Был здесь и дядя Миша — старший из братьев, с женой Татьяной. Чувствовалось, что нас здесь ждали. Началось тисканье, оханье, комплименты

\* В конце тридцатых годов семья Фроловых, гонимая тогдашними «сельскохозяйственными реформами», оказалась в деревеньке Александровке близ Норска. Отца вскоре арестовали, и больше его никто не видел. Мать с четырьмя маленькими детьми выслали в Хакасию — «из Сибири в Сибирь». (Прим. редактора).

по поводу Гошкиной широкой кости и беззлобные шутки в мой адрес: уж очень худой, все время придется водить за ручку, чтобы не унесло ветром. После отмывания дорожной грязи, причесываний, приглаживаний наконец приступили к заждавшемуся нас ужину. От повышенного внимания к нам, тепла, уюта отошло первое отчуждение к незнакомой обстановке, почти незнакомым, хотя и родным, людям. Отошли тревоги ожидания этой встречи. Даже куда-то на задний план ушла щемящая тоска по своей клетке в бараке, по матери, братьям, всему тому, что осталось в далекой Хакасии.

После ужина и всех обговоренных родственниками проблем дядя Миша, коренастый, с ногами кавалериста, с копной черных как смоль кудрявых волос на голове — кряж, вставая со стула, сказал: «Ну что, Гена, пойдем домой... Собирай его, Таня». Мы с братом еще не знали, что жить в дальнейшем нам предстоит повозь и борьба за выживание будет у каждого из нас своя. Не знали мы того, что семейный совет нас поделил. По его решению Гошка будет жить с бабушкой и ее еще неженатыми сыновьями, а я — с дядей Мишей в его семье.

Мои новые воспитатели, так скажем, жили неплохо. Молодые, здоровые, хоть и небольшой, но свой дом. Престижная по тем временам работа: он — шофер, она — повариха. Все у них в доме было. Все, кроме одного — детей. И вот появился я — недостающее звено для их, казалось бы, полного счастья. Но, увы, со мной их мечтам о полном счастье не суждено было сбыться. Во-первых, потому, что мне было уже пять лет и я еще помнил мать. Во-вторых, по причине моего упрямого от рождения характера. И, в-третьих, войны. У Гошки все было проще. Он остался с бабушкой и двумя ее неженатыми сыновьями — дядей Алешей и дядей Ваней. Он в доме был в качестве внука и племянника. В качестве кого должен был быть я? Племянника или сына? Для них желаннее и лучше подходило второе. Детей у них за все совместно прожитые годы не было и уже не будет. Поэтому Татьяна с первых дней моего появления в их доме с педагогической настойчивостью стала прививать мне любовь к себе, то есть к ней и к слову «мама». Делалось это довольно-таки просто, главное — в отсутствие дяди Миши. К завтраку или обеду накрывался стол. Татьяна приглашала: «Гена (Геша или сынок), мой руки — и за стол». Я мыл, садился на свое место и обнаруживал, что около моей тарелки не было ложки. Она это сразу же замечала. «Что, ложечки нет? А ты попроси ее. Скажи: «Мама, дайте ложечку». Я молчал. «Ну, повторяй за мной: ма-ма, дайте ложеч-ку». Я молчал. Начиналась лекция о ласковом теляти, которое двух маток сосет. Постепенно в ласковые нотки вплетался металл. «Ты что, язык проглотил? Пока не назовешь мамой, есть не дам». «Ну и не надо». Обстановка за столом накалялась. В какой-то момент интуицией улавливаю верхушку накала и, не дожидаясь подзатыльника, мышкой устремляюсь под кровать. Кровать была широкая. Я прибивался к стене, и достать меня оттуда было не так-то просто. Сидеть я там мог и час, и два, пока она, предчувствуя скорый приход дяди Миши, не начинала уговаривать меня вылезти. Уговоры

почти не действовали, и, как правило, заканчивалось это всегда тем, что ей самой приходилось лезть за мной под кровать. И так три-четыре раза в неделю.

С дядей Мишой отношения складывались по-другому. Мужик он был компанейский, веселый, гармонист, плясун, а если запевал песню, слышать ее можно было на любом конце поселка. Общался он со мной всегда доброжелательно, в каком-то добродушно-шутливом тоне. Эта манера общения со мной, все его отношение ко мне сделали свое дело. От избытка чувств к нему, в знак большой благодарности я иногда стал звать его папкой, доставляя этим ему огромное удовольствие. С братом мы виделись редко, потому что жили на разных концах станции, да еще через линию железной дороги. А вскоре и вообще расстались с ним на долгие годы, как с матерью и другими братьями.

Сперва дядя Ваня, а следом и дядя Леня ушли в армию. Гошка с бабушкой остались вдвоем. Тетя Катя училась и жила в Сковородино. Через месяц-два после проводов дяди Лени к бабушке приехал еще один из ее сыновей — Николай. Всего к этому времени у нее оставалось их пятеро да четыре дочери. Дядя Коля был рослый молодой мужчина с манерами коммивояжера, в общении — с претензией на интеллигентность. За этой внешностью скрывался очень внимательный, добрый и очень порядочный человек. Он да дядя Миша были любимцами и авторитетами не только в своей семье, но и среди тех, кто их знал. В армию дядю Колю не брали по болезни — туберкулез кости. Работал он заведующим золотоскупкой, имел квартиру, хотя и был еще не женат. Вот он-то и увез бабушку с Гошкой к себе в Ольдой. Насовсем. Оборвалась последняя ниточка, последняя связь с родной фамилией, когда-то большой семьей Фроловых. Отныне на протяжении восьми долгих лет я буду идти по жизни как Строкачев Геннадий Михайлович — фамилия и отчество дяди Миши.

Гошку увезли. Родственники разъехались — кто в армию, кто на учебу, а кто и совсем на новое место жительства. Получилось так, как будто все они ждали нашего приезда только для того, чтобы, прихватив моего брата, разбежаться по разным углам Союза.

А тем временем по планете расползлась коричневая чума, неся с собой горе и страдания народам. Зловещая тень ее докатывалась и до России. Мир жаждал крови. Испания, Хасан, Халхин-Гол, линия Маннергейма — отзвуки этих событий докатывались и до Сиваков. Слово «интервенция» стало самым расхожим на страницах газет. Надвигались сороковые военные годы. Блеск значков «Ворошиловский стрелок», «Осоавиахим», «ГТО» стал предметом особой гордости у подростковой молодежи. Ребячные игры в войну, в чапаевцев, баталии на деревянных саблях — все это нагнетало на взрослых атмосферу какой-то тревоги. К добру эти игры не приведут, предрекали бабки. В воздухе все чаще витало страшное слово «война». И вот о ней своим громовым голосом объявил Левитан. Она наступила. Начало ее здесь, вдали от линии фронта, сопровождалось каждодневными хмельными проводами, гармошками, залихватскими песнями, плясками да обилием слез на вокзалах.

В один из таких дней проводили и мы с Татьяной папку-дядю Мишу. Он, как всегда, шутил, ерошил мои волосы. Татьяна крепилась, пыталась улыбаться, стойко держалась до какого-то момента. А потом, с первым гудком паровоза, в каком-то беспамятстве обхватив его за шею, забилась, запричитала навзрыд, как будто прощалась навечно, как будто молила его о прощении неизвестно за что: или за то, что мы оставались с ней дома, а его увозила война, или за будущие, еще не совершенные ею грехи. Видимо, из-за малолетства или из-за слишком частых перемен в моей еще очень короткой жизни я был спокоен. Наверное, к этому моменту жизнь научила меня принимать ее удары как нечто должное.

Мы с Татьяной остались вдвоем в нашем маленьком доме. На западе уже полыхали пожарища. Война, упиваясь кровью, наслаждаясь мертвчиной, ломая все на своем пути, корежа, коверкая судьбы людей, целых народов, выявляя героев и трусов, воздавая славу и почести первым, низвергая в пропасть бесславия вторых, с неутолимой жестокостью вступала в свои права на целых четыре года. Для меня лихолетье только начиналось. Все испытания еще впереди. Выдержать

бы только, продержаться эти четыре спрессованных, напичканных кошмарами года, да и потом еще...

Военная машина раскручивалась, набирала обороты, вносила свои коррективы в устоявшийся уклад мирной жизни. Опустели прилавки магазинов, враз куда-то все подевалось. Страна входила в русло карточной системы, жесточайшего нормирования, всевозможных ограничений. Останавливались, закрывались, перемещались, перепрофилировались цехи, заводы, целые предприятия, отрасли. Все становилось на рельсы войны, на потребу ее ненасытной утробы.

Столовую, где работала Татьяна, как и многие другие, ввиду нехватки продовольствия закрыли. Поэтому она была вынуждена сменить работу и устроиться на автозаправочную станцию. Внешне жизнь в нашем доме мало чем отличалась от довоенной, если не считать моей постоянной тоски по папке-дяде Мише да новой трехсменной работы Татьяны, от которой я был не в восторге. Особенно от ееочных смен, когда мне приходилось оставаться одному. Было страшновато. Хотя и от ее присутствия в доме, особенно в дневное время, я мало испытывал удовольствия, так как теперь все свободное время она тратила на мое воспитание. С каким-то упрямым фанатизмом изо дня в день она добивалась от меня, чтобы я называл ее мамой. Дядя Миша был в армии, а значит, и лазить под кровать за мной ей было необязательно. Поэтому иногда я там и засыпал. Язык не поворачивался называть ее мамой. Это ее злило. Методика уговоров постепенно сменилась на сплошные шлепки, подзатыльники. Жаловаться было некому, и не то от смены воспитания, не то еще от чего, но в какой-то день она своего добилась — я назвал ее мамой. Называл и в дальнейшем, когда бывал в безвыходных ситуациях, а они бывали довольно-таки частыми. Я чувствовал жуткое смущение, произнося это слово, язык не слушался, деревенел. Я отворачивался, не мог смотреть ей в глаза, а она требовала этого. Я испытывал какой-то стыд, мне казалось, лучше бы провалиться сквозь землю, чем произносить это слово. Это была пытка. Память о матери, братьях притуплялась, с каждым днем отдаляясь все дальше и дальше. Такое воспитание настолько исказило мое восприятие, отношение к слову «мама», что через много лет при встрече со своей родной матерью я не смогу назвать ее мамой. Я также, как в свое время с Татьяной, буду испытывать смущение, неловкость, стыд. Так же неуверенно, с трудом, превозмогая себя, буду произносить это слово от случая к случаю, обращаясь к родной матери. Стыдно, каюсь, но ничего с собой поделать я уже не мог. Выработанный ее чрезмерным усердием антагонизм к слову «мама» был сильнее меня. Извилины, ответственные за раскрепощенность, за выражение теплоты, ласки при общении с близкими, тем более с родной матерью, у меня к тому времени, видимо, заскорузли, захлопнулись в моей коробке. Объяснить, понять это состояние, не испытав его, очень сложно, а испытать не дай бог никому. При жизни матери я так и не смог выразить ей свои сыновьи чувства. Сейчас ее уже нет. Нет и братьев, хотя им бы жить да жить. Ушли молодыми. Жалко. Их ранний уход — это не что иное, как издергки «счастливого детства», издергки нашего костоломного времени.

Повествование мое — это не вымысел, не пересказ из вторых-третьих уст, все это было со мной. Это память моего детства, моя жизнь, моя судьба. Судьба, схожая с тысячами судеб таких же, как я, пацанов моего времени. Схожая, но не одинаковая. Однаковой была лишь сущность нашего детства, всей нашей жизни. Нас, пацанов, как и весь народ, пытались насилием осчастливить. Но, как сказал кто-то очень умный, насилием ничего нельзя дать, насилием можно только отнять. Вот и отнимали: у родителей — детей, у детей — родителей. Отнимали просто детство, не говоря о счастливом. Отнимали жизни в войнах, в промежутках между войнами. Отнимали за Родину, за победу коммунизма, отнимали по ошибке, отнимали просто так. Отнимали все, невзирая на возраст, положение, убеждения. И все во имя утопического равенства, во имя призрачного светлого будущего. Обидно, что все это под другими вариациями, с другими искривлениями продолжается и сейчас, когда на пороге моего поколения уже глубокая осень. Конечно, это уже другая тема для разговора. Я же возвращаюсь в то далекое прошлое, где жизнь, как бы то ни было, шла

своим чередом — дорогой военного времени. Где моя мама Таня вживалась в новые условия жизни, в свою новую роль — солдатки. Вживалась довольно-таки успешно. Особенно это стало заметно, когда в поселке расквартировали прибывшую откуда-то воинскую часть — на лесозаготовки. С ее появлением к Татьяне зачастила ее подруга, тоже солдатка. Сперва одна, затем стала приходить с другом-военным, а вскоре и с двумя, один из которых предназначался, разумеется, для Татьяны. Был он неприметен, среди прочих военных ничем не выделялся, разве что языком, который у него, видимо, был подвешен к маятнику вечного двигателя. Потому что за столом и за ширмой в постели он трещал без умолку. Трещал о своей тяжелой судьбе. О том, что он прошел Крым и Рым. Что Беломоро-Балтийский канал вынес на своих плечах и выкопал его чуть ли не в одиночку своей лопатой. О том, как начальство, чуть ли не в ставке Сталина, разобравшись в его невиновности, выпустило его на свободу и, присвоив звание младшего лейтенанта, прислало сюда, на лесоповал. О том, что присвоение младшего лейтенанта — это ошибка, которую должны скоро исправить, присвоив ему звание не ниже майора. Татьяне все это льстило, она слушала, поддакивала и во всем соглашалась. Еще он говорил ей, что она у него первая женщина, его первая мужская радость, мечта его холдной одинокой жизни.

Эти встречи продолжались до тех пор, пока однажды, во время очередного застолья, в дверь постучавшись, не вошла в дом женщина приезжего вида. Окинув компанию испепеляющим взглядом, она с криком: «Ах вы паскуды, да я вам всем сейчас рожи кислотой изуродую», — кинулась к младшему лейтенанту, на ходу выхватывая из кармана какой-то флакон. Но на то он и был младшим лейтенантом, чтобы одним прыжком, роняя стулья, опередить события. «Дети с голоду пухнут, а ты здесь с этими проститутками свой паек проё...», — кричала она, пытаясь открыть флакон. Он тем временем, обхватив ее поперек туловища, как-то умудрился выдавить его из ее руки. Флакон, упав на пол, закатился под мою кровать. И не то от обиды, безысходности, захлестнувшей ее, или еще от чего, но с потерей флакона нараставший накал страсти пошел на убыль, а вскоре и совсем утих. Лишь перевернутые стулья, пристыженные, виноватые выражения на раскрасневшихся лицах четверки да скучающие всхлипывания ночной гостьи напоминали о только что чуть было не разразившейся здесь трагедии.

Приезжая оказалась женой младшего лейтенанта, матерью его трех детей. Приехала она по письму, написанному ее отцом, тестем младшего лейтенанта, служившим рядовым солдатом вместе с ним в одной роте. Больше он в нашем доме не был. Приходили другие. Из скромной в начале войны солдатки Татьяна превратилась в разбитную забубенную бабу с жизненными принципами: «Все равно война, война все спишет». И списывала, но не все и не всем. Многим за грехи их она по завершении своей кровавой агонии предъявляет счет, для оплаты по которому иным и жизни не хватит. Но это будет потом, а пока — «все равно война, война все спишет». И пошло-поехало... Интерес к моему воспитанию, как и ко мне самому, у нее пропал, ей было теперь все равно, как я ее называл: мамой, тетей или вообще никак не называл, обращаясь к ней. Это меня устраивало. Я наконец-то освобождался от опостылевших ее уроков о ласковом теляти, зубрежки слова «мама» и многоного другого, чего не понимала и не принимала моя детская натура. С переменами, происходящими в Татьяне, я получал свободу, а вместе с ней — и улицу. Отныне моей школой станет улица, учительями — ее авторитеты, такие же пацаны, как и я, но постарше.

Поэтому неудивительно, что свою первую самокрутку я выкурил, когда мне не было еще и восьми лет. В восемь, после первого в своей жизни приема спиртного, я по-настоящему был пьян. От самокрутки полдня кружилась голова, а после спиртного из меня три дня тянуло зеленью. В общем, «пить и курить он начал одновременно» — это про меня сказано. Да и возрастом своим я, наверное, многих опередил на этом поприще, подтверждая тем самым заверения партии и правительства о нашем «счастливом детстве».

С Татьяной между тем мы все дальше и дальше отдалялись друг от друга, все глубже погружаясь каждый в свой омут.

В один из каких-то вечеров я не пришел домой ночевать. Это было не замечено. Во всяком случае, никто с меня за это не спросил, хотя шлепки, подзатыльники, а иногда и основательные трепки продолжались, как и прежде, если не чаще. Но теперь это было не из-за того, что я не называл ее мамой, а так, на всякий случай. Чтоб не путался под ногами. Все это вызывало во мне обиду. Она копилась где-то внутри, чтобы при случае выплынуть наружу. И случай не заставил себя ждать. Однажды, после очередной экзекуции, Татьяна нагнулась над сундуком, ища в нем что-то. Реакция была мгновенной. Вид ее согнутой, незащищенной спины взорвал во мне весь накопившийся клубок обид. Скрешенными в замок ручонками я изо всех сил ударил ее по спине. Почувствовала она удар или нет, но недели две мы с ней не виделись. Она, наверное, и выпрямиться не успела, как я был уже на улице. Благо, что было лето. Ночевал где придется, питался тоже чем придется, вплоть до воробьев, нанизанных на проволоку и обжаренных на костре. Меню мое, кроме воробьев, иногда разнообразилось овощами с чужих огородов или макухой (жмыжами), если ее удавалось стащить со свинофермы. Макуха шла деликатесом, особенно если ее разогреть на огне, тогда она становилась мягче. Раза два через форточку я забирался к себе домой, реквизирия при этом весь имеющийся в доме хлеб и все съестное, что попадалось под руку, что мог растолкать по карманам и за пазухой. Назад уходил той же дорогой. Татьяна, видимо, догадывалась или знала наверняка, куда исчезали продукты, и поэтому специально оставляла форточку открытой. Вообще-то до войны она была неплохой женщиной.

Сейчас, вглядываясь в то далекое прошлое, мне трудно представить себя в том времени. Во времени, когда я, восьмилетний пацан, каждый вечер с заходом солнца был вынужден думать об очередном чердаке или каком-нибудь закутке для своегоnochlega. А утром, с первыми его лучами, — о том, чтобы насытить свой постоянно тоскующий желудок. Все это было, было. В тот вечер, когда я решился провести ночь на чердаке своего дома, я еще не знал, что эта ночь будет последней, проведенной в доме папки-дяди Миши, последним общением с Татьяной и вообще последней ночью моего пребывания в Сиваках. В дальнейшем мои встречи с этой станцией будут проходить и проходят только из окна вагона, когда случается проезжать мимо. И каждый раз эти мимолетные свидания навевают ностальгическую боль воспоминаний о своем детстве. Сиваки — это станция моего раннего взрослого детства, моих встреч и расставаний с родственниками и родными. Сиваки — это кусочек моего прошлого, хорошего или плохого, главное — жизненного. А жизнь, что бы она нам ни преподнесла, — прекрасна. Видимо, не случайно поэтому даже о плохом далеком мы иногда вспоминаем с приятной грустью.

В те сумерки, когда я впервые забирался на чердак своего дома для очередного nochlega, Татьяна меня видела. Но, чтобы не спугнуть, виду не подала. А ночью, когда я спал на подстилке для сушки голубицы, она поднялась ко мне и, разбудив, за руку привела в дом. В доме не ругалась, не била, а, заставив умыться, накормила и уложила спать. Утром, когда я проснулся, ее в доме не было. Пахло вареной картошкой, обжитостью, щемящим уютом. Я встал, походил по комнате, разглядывая ее содержимое как бы заново, со стороны, и понял, что все в ней, казавшееся еще вчера родным и близким, было уже чужим. Интуиция, опережая мое детское сознание, подсказывала, что я здесь посторонний, временный, чужой. Чужой этому дому, вещам в нем, Татьяне. На табуретке около стола стояла сумка, сшитая или сплетенная из кусочков кожи. Из нее тоненькой струйкой шел пар. Я заглянул в нее — там, на дне, в бумажном пакете лежало несколько вареных, еще горячих картофелин. Там же стояла бутылка, закрытая бумажной пробкой, как позже я узнал, с чаем. Татьяна, видимо, только что вышла. Я уже умылся, стал одеваться, когда она пришла. «Встал? — спросила она. — А я за хлебом ходила». Принесенный хлеб — нашу суточную пайку — она тоже уложила в сумку. Завтракали молча. Чувствовалась напряженность, ожидание чего-то недоговоренного, недосказанного. После завтрака Татьяна достала из сундука чистые майку и трусы, шерстяной костюмчик — толстовочку с шорти-

ками на лямочках, — подаренный мне дядей Колей в его последний приезд за бабушкой и Гошкой. Все это она мне велела надеть вместо моего замызганного хламья, что было на мне. Я послушался. Она помогла расправить и застегнуть лямочки на шортиках. После чего оглядела всего с ног до головы и, видимо, удовлетворенная осмотром, с какой-то решимостью сказала: «Ну вот и все, а теперь пошли». Я не стал спрашивать куда. Мне было все равно. Я уже ощутил свою обреченность, понял, что ничего не могу изменить в каком-то надвигающемся новом этапе моего будущего.

На улице моросил дождь. В его мелкой, почти невидимой мороси уже проглядывало первое дуновение осени. От этого еще тосклинее и обреченнее я почувствовал свое одиночество. Мыслей о побеге не было, к тому же, уводя в неизвестность, Татьяна крепко держала меня за руку. Неизвестностью оказался вокзал, куда мы пришли. Потолкавшись немножко на перроне, она подвела меня к одному из вагонов прибывшего с запада поезда. Переговорив о чем-то с высыпавшими из него солдатами, Татьяна отвела меня в сторону и со словами: «Ты мне не сын!» — как-то неуверенно, суетливо сунула мне в руки пустой конверт с номером полевой почты в Куйбышевке-Восточной. Потом, как бы спохватившись, вытащила откуда-то из-за пазухи 46 рублей и подала их мне вместе с той запомнившейся на всю жизнь кожаной сумкой: «Это тебе на дорогу. И еще: ты уже не маленький, знай — я тебе не мать, поезжай к отцу — адрес на конверте, не потеряешься, найдешь». Все это при абсолютной сухости глаз, ни слезинки, ни раскаяния. О том, что не мать, я знал. Но тем не менее, ее открытое признание явилось для меня полной неожиданностью, ушатом холодной воды. Я не нашелся, что ответить, да это было и ни к чему. Своим признанием она все расставила по местам. Никаких наставлений, напутствий в дорогу, кроме одного: «Заберись на третью полочку за решетку для багажа — проводники тебя там не заметят, ты маленький, а дяденьки военные не выдадут, я им сказала, и смотри, не вылезь оттуда до самой Куйбышевки. Хлеб и картошку можно поесть и за решеткой, чай в бутылке». Что она наговорила военным, не знаю, но они знали, что я без билета и что нужно мне до Куйбышевки-Восточной, поэтому сами подсадили меня на полку. Гудок паровоза и — прощай, Сиваки, мама Таня, прощай все, что еще как-то связывало меня, мое детство с родственниками и родными. Впереди беспризорность. Мне шел девятый год от роду, был 1942 год, второй год войны.

Из отрешенно-равнодушного состояния, в котором я находился все это утро, вывел меня стук колес. Он же вернулся и к осознанию произошедшего. Впервые в своей короткой жизни я ехал один. Родных рядом, а может, и на всем белом свете, — никого. Перед глазами — кадры Татьяниного отречения от меня. Они усиливали, нагнетали чувство потерянности, одиночества. И хотя это очередное громыхание колес, лязг буферов, эту дорогу я принял по инерции как должное, чувство какого-то тревоги, напряженности, необъяснимого страха не покидало меня.

Солдаты, как только я оказался наверху, обо мне забыли. Они шумно играли в карты, смеялись; где-то пиликала гармошка, бренчала гитара. Вагон жил своей дорожной обычностью. Раза два-три по нему проходил проводник, но меня он не видел. Зато я, как загнанный зверек, забившись за решетку багажной полки, наблюдал за всем происходящим в вагоне, глядя сверху вниз.

Через какое-то время, утомленный передрягами дня, я заснул. Сон был дремотным, чутким, пробуждение — тяжелым и потным. От лампочки, подвешенной к потолку, в глаза бил свет. Хотелось воздуха, пить, хотелось спуститься вниз, к людям, но боязнь быть замеченным проводниками удерживала меня. Когда же я все-таки решился на этот шаг, кто-то, дернув меня за ногу, сказал: «Подъем, заяц, просытайся, скоро тебе сходить». Я слез. «И куда же ты теперь, сынок?». «Не знаю, пойду искать отца». «На улице ночь, дождись утра на вокзале», — напутствовал меня сердобольный солдат.

После сивакской приземленности Куйбышевка показалась громадиной. Яркая освещенность перронки, толпы снующего народа, красные, синие, зеленые огни светофоров, пе-

ремежающиеся с разноголосицей гудков, клубы пара, дыма — все это меня ошеломило. Остатки ночи провел в зале ожидания, пристроившись на одной из лавок. Есть не хотелось, но, вспомнив о содержимом сумки, машинально вытащил из нее кусок хлеба и, почти не жуя, проглотил, запив холодным чаем из бутылки. Мне еще никогда не доводилось ночевать одному на вокзале, поэтому все для меня здесь было в диковинку: и храпы одних, сидя спавших пассажиров, и тихие беседы других, и медленные, степенные прогулования по вокзалу третьих. Во всем чувствовалась застороженность, лишь изредка нарушенная всплесками оживления при подходе очередного пассажирского поезда или эшелона. Вскоре вошел и я в этот замедленный ритм ночного вокзала и задремал. Ночь показалась вечностью. Я дремал, засыпал, просыпался, опять засыпал, а утро все не наступало. Я ждал его. Боялся проспать, прокараулить. Мне казалось, что с рассветом, с наступлением нового дня закончатся все мои беды. Что утром первый же военный, к которому я обращусь и покажу адрес, сразу же расскажет мне, как найти папку-дядю Мишу, а может, и сам отведет меня к нему. Но, увы! Ожиданиям, надеждам не суждено было сбыться в это утро. Поиски растянулись на многие-многие дни, среди которых будут и привод в милицию, и побег, и холодные ночи, и главное — голод.

Все это будет позже, а пока рассвет я все же проспал. Он пришел неожиданно. Когда после очередной дремы я открыл глаза, было уже совсем светло. Пассажиров в зале поубавилось, уборщицы подметали пол, расталкивая при этом кое-где спящих пассажиров. Соскользнув с лавки, я тут же потопался на поиски. Мне казалось, что все военные на вокзале такие же приезжие, как и я. Поэтому, выйдя на улицу, я пошел прочь от вокзала, не важно, в какую сторону, лишь бы подальше, лишь бы скорее встретить местного военного. Но, к моему огорчению, первый из них, к кому я обратился, только пожал плечами, прочитав протянутый ему конверт: «Не знаю, частей в городе много, поспрашивай других, может, и встретишь того, кто знает эту часть». Потом был второй, третий, пятый, десятый, бесконечный, но ни один из них не мог сказать, где мой папка. Как заведенный бродил я по городу в этот и последующие дни, но все безрезультатно. Как две капли похожие дни, сменяя друг друга, все дальше и дальше уводили меня от надежды. Я ее начал терять.

Моя кожаная сумка давно опустела, и я оставил ее там, где доел из нее последние крошки хлеба и последнюю засохшую картошку. Ночевал по-прежнему на вокзале. Уборщицы и милиционеры настолько привыкли ко мне, видимо, считая меня неотъемлемой частью зала ожидания, что не замечали моего присутствия.

Воровать я еще не решался, просить не позволяла не то врожденная гордость, не то застенчивость, поэтому от голода меня уже шатало, временами кружилась голова, перед глазами мельтешили круги. Иногда хотелось вернуться назад к Татьяне, но теплившиеся еще где-то на задворках сознания остатки надежды найти папку удерживали меня. К тому же, где сейчас искать эти Сиваки, на какой поезд садиться, в какую сторону — я уже забыл, если не сказать проще — совсем не знал. Все, что с ними было связано, казалось таким далеким, нереальным. О родных, родственниках уже не вспоминал. Все было отодвинуто в дальние закоулки памяти постоянно сосущим чувством голода. Он преследовал, не давал ни о чем другом мыслить. Лишь конверт с адресом еще как-то поддерживал и толкал меня каждое утро на поиски по незнакомым улицам недоброжелательного, как мне казалось, ко мне города. Чем питался все это время, что пил, на какой грани выживания стоял — не припомнить, не понять. Но, видимо, грань была уже краем пропасти. Потому что когда однажды мне посчастливилось подняться с земли несколько картошин и огромную турнепсину, выпавшие из идущей впереди меня груженой повозки, я безумно обрадовался. Растилья все это по карманам и за пазухой, едва обтерев грязными руками, я принял грызть картофелину вместе с кожурой, не замечая, что она сырья, как будто всю жизнь только такой и питался. На зубах хрустел песок, руки дрожали, ноги не слушались, спазмы сдавливали горло. Но не в силах выполнять две работы — идти и грызть, я присел у забора, притулившись к нему спиной. Отходил медленно, постепенно, не замечая,

как чувство голода уступает место чувству уверенности. Вновь появилась надежда на успешные поиски. Вставая с земли, я с удовлетворением ощутил холодок от картошки и турнепса за пазухой. Поправив все это под рубашкой, снова двинулся в путь.

В этом районе города я еще не бывал, поэтому удивился, оказавшись вскоре среди множества торгующих прямо на улице людей. Это был базар. Он поразил своей пестротой, обилием продаваемой одежды, скорее не продаваемой, а меняемой на продукты. Кто-то, выкрикивая во весь голос, нахваливал, показывал, предлагал товар лицом. Кто-то вполголоса предлагал, из-под полы показывая, свой товар явно криминального происхождения. В одном углу здоровенная баба пыталась всучить другой, худенькой, круглую большую булку хлеба за плюшевую полуношку. Худенькая отталкивала от себя протянутую руку с булкой, причитала во весь голос: «Ну как тебе не стыдно, жлобина ты, за такую дошку — одну булку? Да подавись ты ей сама, я лучше в печке сожгу ее, чем задаром тебе отдавать...» — и, наругивая еще как-то, стала уходить от нее прочь. Булка в руках этой крупной женщины заворожила меня. Не сводя с нее глаз, я вытащил свои еще не растрченные 46 рублей и, подавая их ей, еле шевеля губами, попросил: «Тетенька, продайте мне». Взяв деньги, она пересчитала их и, тут же возвращая мне, злобно прошипела: «Проваливай со своими грошами, покупатель сопливый». Одновременно с этим сочным шипением я услышал за спиной бодренький старческий голос: «Лучше купи у меня, малец, на мой товар у тебя денег хватит». Я оглянулся. Весь сморщеный, щупленький дедок тут же из большой синей сумки продавал семечки. Он почти вырвал у меня из рук деньги, быстро пересчитал и, возвращая мне часть из них, не спрашивая, сколько нужно, рассовал по моим карманам два стакана семечек, что-то приговаривая при этом. Мне ничего не оставалось, как только радоваться дедовой доброте — и деньги еще есть, и полные карманы семечек.

На выходе с базара три мужика у киоска о чем-то шумно спорили, пили квас. Подойдя к ним, я тоже решил утолить давно мучившую меня жажду, благо, что деньги еще были. Поднявшись на цыпочки, я просунул в окошко остатки своих денег. Продавщица, не глядя, тут же высунула мне пол-литровую банку серой мучнистой жидкости и еще какую-то сдачу. Я начал пить. Мужики, продолжая свой спор, не обращали на меня внимания. Сколько выпил я этой дряни, не знаю, но вскоре в голове помутилось — и больше из этого дня я ничего не помню. Очнулся на второй день за печкой в дежурной комнате милиции. Проснулся от диких криков, исходивших от пацана лет пятнадцати, которого допрашивали с пристрастием здесь же, в дежурке. Его взяли с поличным в тот момент, когда он с таким же, как сам, пацаном срезал рисованный на материале плакат со словами: «Хочешь жить — убей немца!». Из этих плакатов после стирки и крашения какие-то тети, как он говорил, шили детские трусишки и маечки на продажу. Плакат этот был не первый, милиция давно охотилась за теми, кто их срезает, и наконец-то выследила. Напарник сбежал, а его взяли. О том, куда идут эти плакаты, он уже сознался. Сейчас из него выколачивали, кто шлет. И тут он кричал, плакал, но не говорил. Вскоре после моего пробуждения его куда-то увезли. Я вылез из-за печки. В до горечи накуренной комнате сидели два милиционера. В окно плотным тугим пучком бил солнечный свет. В его потоках, как осенние облака, тяжело переваливаясь, подминая друг друга, поднимались к потолку сизые клубы дыма. Голова гудела, раскачивалась, хотелось пить. Ничего не соображая, я направился к двери, но сидящий за столом милиционер остановил меня: «Ты куда это, алкашонок? Не успел проснуться, а уже за похмельем? А ну, подойди к столу, рассказывай, из какой колонии или детдома сбежал». Я не понимал, о чем он спрашивает. Не знал, что такое колония, детдом, не мог понять, где я, как оказался здесь и вообще что от меня хотят. «Ну как, хороша была бражка?» — допытывался другой. Оказывается, у киоска я пил не квас, а брагу, которую продавали там по девять рублей за банку. Это я понял из комментариев милиционеров к моим собственным показаниям.

Когда, переборов чувство страха, я наконец понял, чего от меня хотят, то вытащил свой уже затертый конверт и,

отдавая его милиционеру, стал доказывать, что ищу отца.

Я просил, чтобы меня отпустили, чтобы помогли найти его — папку. Но, видимо, показания мои и просьбы были неубедительны. Хотя через какое-то время один из них снова взял у меня конверт и, переписав адрес себе на бумажку, стал куда-то звонить, называя при этом папкину фамилию. Мне же пока велено было сидеть здесь, в дежурке, до выяснения. Я сидел, ждал. В какое-то время в дверь, что вела во двор, а их было в комнате три, вошел еще один милиционер, неся в руках деревянный поднос с хлебом. Вошедший поставил его на стол, что-то прочитал в лежащем на столе журнале и, пересчитав куски хлеба на подносе, ушел с ним через боковую дверь. Как я позже узнал, это был хлеб на арестованных. Обо мне, разумеется, при дележке забыли или решили, что после вчерашнего «кваса» мне не до еды. И действительно, есть не хотелось, поэтому проплывающий мимо меня в руках милиционера поднос с хлебом я проводил глазами равнодушно. Он не возбудил во мне чувство голода. Все мысли были заняты другим: во-первых, как избавиться от постоянно подкатывающей тошноты и урчания в животе, а во-вторых, как выбраться отсюда? Из разговора моих стражей я знал, что сегодня у них коллективный выезд на копку картошки. Они ждали смены, ждали машину. Поэтому неожиданно раздавшийся с улицы автомобильный сигнал как по команде поднял их с места и устремил в угол, где были свалены в кучу пустые мешки, ведра, лопаты. Все это они стали выносить на улицу. Я наблюдал за ними в окно, видел, как они подавали весь этот инвентарь, слышал, как громко переговаривались, шутя препирались с принимавшими в кузове их товарищами или родными. Этот сигнал всколыхнул и меня, я его тоже воспринял как призыв к действию, но, кроме того, и к свободе. Мгновенная реакция — взгляд в окно, секунды на размышление, и я уже у двери, только у другой. У той, через которую вышел милиционер с подносом хлеба. Выскочив на улицу, я пролетел мимо домика, примыкавшего почти вплотную к основному зданию. Вдогонку мне неслась запахи какого-то варева. Видимо, домик был кухней. За домиком разбросанные дрова — колотые, чурки, бревна, дальше — двор и ворота. Ворота на запоре, сбоку — калитка, я к ней — онакрыта, и вот я уже за высоким забором на улице. Или калитку они вообще не закрывали днем, или по чьей-то халатности мне крупно повезло. Выскочив на улицу, я бросился бежать вдоль забора. Бежал, пока не закололо в боку; свернув за угол, пошел пешком. Отпустило — опять куда-то бежал, шагал, петляя, инстинктивно путал следы, пока не оказался на берегу речки. Это была Томь. Здесь я еще не бывал. Подойдя к воде, приспал к ней, стал пить холодную речную воду. Потом умылся, наверное, первый раз со временем, как покинул Сиваки.

День был солнечный, я валялся, грелся на берегу, наслаждался свободой. Тошнота и урчание давно прекратились, но появилось так знакомое мне сосущее чувство голода. Мой турнепс и остатки картошки остались где-то за печкой в милиции или вывалились еще раньше по дороге, когда меня доставляли туда. На берегу, кроме меня, почти никого не было, лишь вдалеке какая-то женщина, стирая белье, поминутно отгоняла от воды своего маленького пацанчика.

Сколько времени провел на берегу — не знаю, но когда солнце стало закатываться за дома и от речки потянуло прохладой, я решил уходить. Вот только куда? На вокзал я идти боялся, думал, что вся милиция города занята моими поисками. Мне казалось, куда я ни пойду — в любой стороне меня ждет кара за побег. А идти надо. Становилось прохладно. Солнце уже втягивало в себя последние запоздавшие лучи дня. Надвигались сумерки. С неохотой, силой необходимости отрывал я себя от приютившего меня берега. Поднявшись, еще раз окинув взглядом быстро бегущую чистую Томь. Полюбовался золотистыми бликами уходящего солнца на воде, ее заросшими на той стороне берегами и невольно позавидовал — она в своих берегах, в своем ложе, она всегда у себя дома. А где мой дом? Кто ждет меня? Куда идти? С этими невеселыми мыслями я все же направился в сторону города. Войдя в город, как неприкаянный, как обреченный брел я по его улицам, бороздя сандалиями дорожную пыль, временами замедляя шаги, будто хотел затормозить время, а с ним — и надвигающийся ночной холод.

Кое-где уже зажигались огни... Где-то скрипели ворота. Слышна была беззлобная ругань хозяек, загоняющих свой скот. Гремели затворы ставень, девчоночный голос звал домой брата, обещая ему трепку от мамы. Сумерки между тем, постепенно, но уверенно сгущаясь, уступали место темени ночи. Ноги мои, не ведая того сами, по паровозным гудкам привели меня снова к вокзалу. Из-за угла какого-то строения смотрю на привокзальный свет. Милиции не видно. На лавочке сидит офицер — я их, офицеров, уже отличал от солдат. Подхожу к нему, протягиваю адрес — делаю это на вокзале впервые, так как до сих пор считал всех военных здесь приезжими. Я и сейчас бы не подошел, но мне нужно было хоть с кем-нибудь поговорить, чтобы хоть голосом согреться. Дрожь уже донимала. Опять, в который раз, задаю свой вопрос: как мне найти папку? Прочитав конверт, он вернул его мне. После чего стал расспрашивать, откуда я, как оказался здесь и еще много о чем. А потом, как бы спохватившись, спросил: «Ты есть хочешь?». Конечно, я хотел есть. Взяв меня за руку, он завел в буфет при вокзале, посадил за стол и, подойдя сперва к буфетчице, а потом к окошечку, что было слева от нее, привнес оттуда полное блюдце густой лапши и ложку. Поставив все это передо мной, он вытащил из своей полевой сумки кусок хлеба и, протягивая его мне, сказал: «Ешь, потом я расскажу тебе, где искать отца». От избытка чувств я чуть не разревелся, хотя, должен заметить, слез в детстве своем не помню. Их ни до, ни после, ни в этот раз не было. И только сейчас, на исходе своего пути, иногда при воспоминании о своем прошлом глаза затягивает влажная пелена.

В буфете он ни о чем не спрашивал. Молча, как мне казалось, наблюдал за мной, смотрел, как я зачищал с блюдца последние лапшинки, как смахивал с ладони в рот последние крошки хлеба... Когда со всем этим было покончено, он все из той же своей сумки вытащил кусок сахара и, протягивая мне, сказал:

— Погрызи, а то, наверное, уже забыл, что это такое.

Потом мы сидели с ним на улице на той же самой лавке, на которой я впервые увидел его. И он снова задавал мне свои, прерванные первым за много дней ужином, вопросы.

— Так, говоришь, папка у тебя хороший, а мамка — мама Таня?

— Да.

— Значит, она привезла тебя сюда и бросила?

— Нет, я сам приехал. Она только на вокзал в Сиваках привела.

— А за что же она тебя отправила?

— Не знаю, сказала, что я ей не сын.

— И когда, давно она тебя отправила?

— Давно.

— Ты домой хочешь?

— Нет, к папке хочу, — обреченно произнес я.

Видимо, поддавшись моему настроению, он как-то очень тепло прижал меня к себе и надолго замолчал. А через какое-то время, не понять к кому обращаясь, произнес:

— Ничего, они нам за все ответят. Пусть не думают, что конец света наступает и с них некому будет спросить. Спросим, еще как спросим, и твоей маме Тане тоже счет предъявим. Звать-то тебя хоть как?

— Гена, — ответил я.

— Ну вот и хорошо. А меня зови дядей Гришей. Так-то лучше. Будем считать, что мы с тобой хоть и с опозданием, но познакомились.

Я промолчал.

— Ничего, парень, не вешай нос, папку найдешь — и все у тебя наладится, — успокаивал он меня. — Папка твой где-то здесь, рядом, может быть, на той стороне линии. Ты утром, как проснешься, перейди по viadukу на ту сторону, — указал он рукой, — потом по дороге поднимись наверх и иди по ней, пока не увидишь часовых под грибками за колючей проволокой — это военный городок. Твой папка где-то там. В общем, поспрашивай у солдат. Если не скажут, попроси их, чтобы они отвели тебя в комендатуру — там все воинские части города знают, они его быстро разыщут. Я бы сам его разыскал, помог тебе, но скоро мой поезд, мне дальше ехать надо.

И, как бы в подтверждение его слов, откуда-то издалека высветился яркий луч света приближающегося поезда.

— Ну что, Гена, прощаться будем? — сказал он, вставая. Затем слегка прижал меня к себе обеими руками, тут же отстранил и стал подниматься в первый от лавки вагон остановившегося поезда. Поднявшись в тамбур, он еще раз напомнил мне про viaduk, военный городок и комендатуру.

Поезд, видимо, опаздывал, потому что не успел дядя Гриша закончить последние напутствия, как он вздрогнул, дернулся и, пыхтя, лязгая буферами, стал, набирая скорость, удаляться. А вскоре и вовсе скрылся.

С уходом поезда опустел перрон. Ушли с него и последние, навьюченные узлами, пассажиры, беззлобно сетя на какую-то Нюрку, не встретившую их. Все разошлись, а я еще долго стоял, глядя вслед уже невидимому поезду.

Гена нашел все-таки своего «папку-дядьку». Время, которое он прожил в качестве «сына полка» в воинской части в Куйбышевке-Восточной (ныне Белогорск), а затем в Биробиджане, наверное, можно считать самым светлым в его детстве. Он там, по крайней мере, оттаял. Солдаты, у большинства из которых дома оставались дети, относились к нему с трогательной теплотой. Ну а потом Гена получает предложение ехать учиться в суворовское училище (радужная перспектива по тем временам!) и одновременно узнает, что у него есть родная мать и родные братья, уже вернувшиеся в Амурскую область и живущие в поселке золотодобытчиков Соловьевске. Малец, уже практически забывший о них, повинувшись какому-то безответному чувству, отказывается от суворовского и едет к родным в Соловьевск. И снова — жизнь в нищете и лишениях...

Мы очень советуем вам найти и прочесть эту книгу.